



ПИСЬМА М. А. ВОЛОШИНА

Письмо 154. А. М. Петровой

11 декабря 1900 г. Ташкент

<...> Только в этой мертвой безлюдной пустыне, испещренной белыми костями верблюдов, где только редко-редко встретятся старые глиняные стены разрушенного укрепления или города, построенного китайцами в незапамятные времена, и ввиду этих — замыкающих ее ледяных великанов, которые видели столько крови и варварства, и бесконечные орды — миллионы миллионов варваров, шедших в Европу, мысль невольно приобретает объективность, широту и бесстрастность. Я помню, как мы раз вечером возвращались с Валерианом¹ верхами в лагерь и говорили о том, что теперь в истории человечества совершается перелом гораздо более великий, чем франц<узская> революция, что с этого года начинается какой-то новый период в истории человечества. И представьте, какое впечатление на меня произвело, когда я открыл в «Вестнике Европы» последнее письмо Влад<имира> Соловьева², где он говорит это же самое теми же словами, которые употребляли мы в нашем разговоре.

<...> Только выводы он делает отсюда другие: он чувствует полный крах *европейской* цивилизации и *европейского* христианства и принимает это за конец всемирной истории. Ведь это только те варвары, которые когда-то проходили по этим степям, из которых я вам пишу теперь, чтобы разрушить и добить эллинскую культуру, уже исковерканную и оплеванную римскими солдатами, снова возвращаются в Азию, оставшись такими же варварами, и идут разрушать другую культуру, гораздо более старую, чем наша, и может быть, и более совершенную. Мы ведь до сих пор так гордились своей культурой, что и подумать не могли, что может быть кто-нибудь равен нам, — все это варвары.

А между тем, китайская культура единственная, в которой государственный строй не основан <на> рабстве, как у нас, в которой нет деления на сословия и поэтому нет ни аристократии, ни презренного демоса, которая не нуждается для своей охраны в солдатах, без которых

европейская существовать не может, и глубоко презирает войну и нас, европейцев, за то, что мы любим воевать и страшно суедемся.

<...>

Ну а теперь обо мне. Прежде всего, я оправдан. «Ни в чем не виновен, но снисхождения не заслуживает». Т. е., другими словами, могу ехать, куда угодно, но в университет быть принятым в этом году не могу, а в будущем — может быть... Мама возмущена ужасно и разнесла там всех: и охранное отделение, и ректора. Письмо свое она заключает такой филиппикой, очень характерной и наглядно мне показавшей, как мы с ней, находясь на разных концах земли, все-таки совпадаем в своих настроениях: «Может, это не наказание, а почет особенный, и арест, прогулка под конвоем жандармов от Судака до Москвы, тюрьма не шельмование, а опять-таки почет особенный, самый настоящий, исключительно для русского студента выдуманный, и студенты, мол, этому почету рады, гордятся им, восторгом сияют, если только не заблагорассудят от нечего делать повеситься? И в последнем случае никто не виноват — все творят только волю пославшего их³. А где этот пославший? что говорит? что думает? Не говорит ли и он опять, что творит только волю пославшего его? Таким образом мы добираемся до Бога, но Бога, нам совершенно неведомого, не имеющего сходства с предвечным, премудрым духом любви, милосердия, справедливости, мы как на камень натыкаемся на фальсифицированного Бога. К концу столетия человечество дошло до возмутительной, ужасной по своим последствиям фальсификации Бога и, кощунствуя словами учения Его, творит мерзости, злодеяния, убийства, подлости с легким сердцем и большим достоинством. За человека страшно становится. Тьма... тьма... всяческая тьма. Прости, Господи, не ведают бо, что творят!»⁴.

Вообще мамины письма очень мрачны. <...> Ну, а я решил действовать так, как и думал, т. е. университетом Московским больше не прельщаться, а ехать прямо в Париж...

<...>

Письмо 168. А. М. Петровой

12 февраля 1901 г. Ташкент

Милая Александра Михайловна! Каждый раз, как я получаю ваши письма, я испытываю очень глубокое впечатление. Ведь действительно: существуют во всем мире только два человека, которые

присутствовали при первых слабых побегах моего духовного мира — Вы и Пешковский, и вы оба можете понять каждый шаг, каждую новую ступень, в то время как для всякого другого, сделайся он ближайшим моим другом, я буду только величиной со многими неизвестным. Когда я получаю Ваши или его письма, меня каждый раз вновь озаряет мысль, что об «этом» и «так» говорить я могу только с вами и больше никогда и ни с кем. Каждый раз я перебираю все геологические наслоения мыслей, осевшие на дно. Многого нельзя никак сказать ни на каком языке, выразить невозможно никакими словами, и можно только тогда говорить, когда это все вместе раньше передумано. Вы правы — пустыня мне много сказала, но далеко все-таки не так много, как могла бы, потому что я был не один в пустыне. Моя «пустыня» еще впереди. Может, тоже «на половине жизненной дороги»?¹ Теперь туда — в пространство человеческого мира — учиться, познавать, искать. В Париж я еду не для того, чтобы поступить на такой-то факультет, слушать то-то и то-то — это все подробности, это все между прочим — я еду, чтобы познать всю Европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все «европейское» и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям «искать истины», в Индию, в Китай. Да, и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности. Когда это будет сделано, тогда уж действи<тельно> нужно будет на сорок дней в пустыню, а после того в Россию окончательно и навсегда. Вы боитесь, что я отрешусь от всего родного². Теперь, пока это, может, и *надо* будет сделать, чтобы получить полный и абсолютный простор для мысли. А потом, когда наступит время, родное само схлынет в душу неизбежным, неотразимым поток<ом>, и тем сильнее хлынет. Вертится у меня одна фраза Щедрина: «Хорошо за границей, а в России лучше: лучше — потому что больше»³. «У нас занятней», — говорит он в другом месте⁴. А ведь и действительно занятней! В какой такой другой стране студентов будут отдавать в солдаты за то, что они хотят исключить из своей среды нескольких негодяев-товарищей? Разве это не занятно?

<...>

Ни один жандарм не мог вынести больше пяти минут, когда я, улыбаясь, смотрел на него, чтобы тоже не рассмеяться, в то время, когда я сидел в тюрьме. И вот подите-ка — опять это особенность русской природы: именно эта-то «занятность» русской жизни всего милее и всего дороже-то и кажется, хотя логически-то как раз наоборот следовало бы!

<...>

Письмо 211. А. М. Петровой

14/27 августа 1901 г. Париж

<...>

Какой вихрь новых впечатлений, не прекращающий <ся> уже три года. Мне каждый день кажется, что я только что родился на свет и все вижу в первый раз и так снова и снова, и снова. Со взглядами что-то поразительное. Это какое-то непрестанное разрушение одной части здания, в то время, когда другая все растет, растет, сама собой.

Многое из того, что я думал и писал в Ташкенте, кажется уже таким наивным. И главное, это все нисколько не намерено кончаться. Напротив: только теперь все и начинается.

Каждый день новая революция.

А сколько балласту при этом вылетает за борт! Несколько недель назад, например, окончательно вылетел социализм.

Это вас страшно удивит.

Он заменяется анархизмом. Не бойтесь, я не буду делать бомб, потому что суть не в этом: мысли страшнее бомбы, а книга разрушительнее динамита.

<...>

И Вы спрашиваете, начал ли я учиться! И когда же люди поймут, что учиться можно только на свободе, а не в тюрьме. Всякое учебное заведение, которое нужно *проходить*, — тюрьма. У меня теперь в Национальной библиотеке под руками все, что когда бы то ни было было написано на земле. Это Вы не называете учением? У меня пред глазами все то высокое и низкое, прекрасное и отвратительное, к чему привели три тысячи лет европейской истории. И это вы не называете учением? Да знаете ли Вы, что я только в первый раз во всей своей жизни понял теперь, что значит учиться!

Конечно, я буду слушать много лекций зимою (теперь каникулы), но система...

Разве можно создать одну систему хотя бы даже для двух людей. Для каждого должна быть своя система, и эта система создается не логически (логика — условность, выдуманная людьми, — остаток схоластики, а в жизни ее нет), а самой жизнью, всей натурой.

<...> А журнал¹ такой теперь совершенно необходим, т<ак> к<ак> на все новые течения западной мысли и западного искусства редакциями современных русских газет установлена цензура

еще более строгая, чем цензура государственная над политическим известиями. У нас позволяют только глумиться над так называемым «декадентством» (слово, которого в Европе не существует)* и ни строчки не позволяют написать для объяснения действительного великого значения того громадного движения в искусстве, которое происходит теперь.

Письмо 227. А. М. Пешковскому

27 октября / 9 ноября 1901 г. Париж

<...>

Париж меня заполняет все больше и больше своей красотой, своей глубиной и своими сокровищами мысли, которые начинают раскрываться только теперь. Я уже смотрю на него совсем иными глазами, чем в то время, когда я тебя немилосердно таскал по улицам¹. Все то, что меня тогда восхищало, теперь мне совсем не нравится.

С августа месяца, т. е. с моего приезда из Испании, у меня шла бесконечная и очень продуктивная работа. Я глотал книги в Национальной Библиотеке, несколько раз перевернул вверх ногами свои взгляды на искусство, ниспроверг социализм, подписался на анархическую газету², познакомился с ее редакторами, потом низверг и анархизм и в результате духовно примкнул к той политической партии, которая по моим соображениям возникнет лет через пятьдесят и будет составлять крайнюю левую в том парламенте, где анархисты будут консервативным большинством. Пока на этом я в политическом отношении и остановился. С большим удовольствием я тоже заметил, что с некоторого времени гораздо больше интересоваться мнениями противников, чем единомышленников. При помощи некоторых французских новейших писателей я с необыкновенной легкостью постиг глубокие тайны самоанализа и с большим успехом признался и этим. Довольно усердно занимался рисованием, бродя ночью по трущобам старого Парижа, а в хорошую погоду по окрестностям. Составил несколько маршрутов будущих путешествий по Абиссинии, Южной Америке, Гималаям и Сицилии и подыскал спутников. Теперь же записался на курсы индусской философии, санскритского языка, чер-

* Есть только один термин «L'art nouveau». (Примеч. Волошина.)

ной магии в средние века и мексиканских религий в Ecole des Hautes Etudes в Сорбонну. На различные курсы по искусству и по археологии в Ecole du Louvre, на художественную анатомию в Ecole des Beaux Arts³, на всеобщую историю на Faculté des Lettres и в русскую высшую школу. И при всем том я, конечно, умудрился в сущности в течение всего этого времени «ничего не делать».

Письмо 258. А. М. Пешковскому

27 августа / 9 сентября 1902 г. Париж

<...>

Весь этот год я переживал острый период моего разрыва со студенчеством. Много для меня в это время утрировалось, но теперь разрыв уже совершился, и я постепенно становлюсь умереннее.

Истина, раскрывшаяся для меня, была та, это русские революционеры и русское правительство сделаны из одного куска. У них все общее, только под другими кличками.

Другая истина — это та, это основа всякого насилия и деспотизма есть уверенность в своем праве воспитывать другого человека. Это одинаково относится как к детям, так и к народам.

К социализму я теперь стал тоже во враждебное положение. <...>

Я летом много читал по истории первобытного христианства и, проникаясь к нему все большим и большим презрением, я находил в нем удивительное сходство с социализмом.

<...>

Мне в Риме случилось познакомиться с русинской (малорусской) католической коллегией. И ученики, т. е. студенты малороссы, рассказали мне много интересного про Галицию, где поляки теперь сами играют ту же роль по отношению к русинам, что Пруссия по отношению к Польше.

Вообще мне теперь в Риме пришлось попасть в самый центр католического мира. У меня теперь такие обширные связи в разных монастырях, церквах и коллегиях Рима, что стань это известно французскому правительству, меня бы выселили вместе с конгрегациями¹. Что ты думаешь об выселении конгрегаций? Что пишут об этом в России? <...>

Письмо 259. Я. А. Готову

26 сентября / 9 октября 1902 г. Париж

<...>

Теперь я занят одной очень интересной личностью, которую гидурую по Парижу. Можешь себе представить, кем? — Тибетским послом — Хабу-Ламой Тибета¹, т. е. одним из семи лам, управляющих Тибетом, и воспитателем теперешнего Далай-Ламы.

Представь себе человека, не имеющего никакого понятия ни о чем, касающемся Европы, настолько, насколько сами Европейцы не имеют понятия о Тибете. Ведь ты знаешь, что въезд в Тибет воспрещен Европейцам и никто из Европейцев в Тибете еще никогда не был.

Мой Хабу-Лама один из глав буддизма и сверх того святой.

Во всей истории было только два случая приезда послов из Тибета. В первый раз приезжал один лама в XIV веке, а второй раз — он. Он здесь уже был 2 года назад на всемирной выставке и теперь приехал снова. Представь себе мое чувство, когда я обедаю в каком-нибудь ресторане на счет тибетского святого или делаю с ним в *Von Marché*² покупки для Далай-Ламы. <...>

Письмо 260. А. М. Петровой

1/14 декабря 1902 г. Париж

<...>

Для русских художников «французская манера» — это такое же всеобъясняющее слово, как для русской публики слово «декадентство». За последние четверть столетия Франция произвела революцию в живописи. Революцию — освобождение личности.

Пиши так, как ты видишь, и так, как ты чувствуешь. Пользуйся для этого всеми средствами изобразительности и забудь навсегда все академические правила. Вот французская манера! После двух веков владычества коричневых теней и рафаэлизма люди вышли на свет. И вот теперь, когда каждый стал писать по-своему, бросают упреки в манере и отсутствии оригинальности. О, это русское невежество,

которое заставило Репина смешать в одну кучу Клода Моне, Пювिसа, Дегаза и обозвать их всех в купности декадентами¹, русское невежество, которое до сих пор не привыкло отличать символизм от натурализма.

<...>

Теперь — Лама². Кто Вам сказал, что он без языка? Я с ним очень много беседовал, через переводчика, конечно.

Он мне много сказал такого об нирване³, что сильно перевернуло многие мои мысли. От него я, например, узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством: религией пропаганды и насилия!

А смысла моей надписи «Чилимбар Сзабба!» Вы совсем не поняли — это не вызов, а предупреждение⁴. И сделано это было под впечатлением наших разговоров об запрещении въезда европейцам в Тибет: «Опасайтесь Европы». Разве это «науськивание», «псовая охота», когда предупреждают против бешеной собаки. А Европа хуже бешеной собаки. Никто не умеет так дотла уничтожать чуждые культуры, как Европа. Ни у одной другой страны нет такой кровавой истории.

<...>

Письмо 261. А. М. Пешковскому

2/15 декабря 1902 г. Париж

<...>

В Японии я проведу следующую зиму. Это будет началом моего кругосветного путешествия¹, на которое я решил истратить половину своих денег. Когда ты селишься в новом доме, то, прежде чем приступить к регулярному образу жизни, ты осмотришь все комнаты, познакомишься с их расположением и убранством. Это хочу сделать и я, попавши на землю. Откладывать я не хочу, т<ак> к<ак> музей закрывается в 4 часа, а осмотреть надо так много и хочется увидеть и переиспытать все.

Россия была для меня тезой, Париж антитезой, а восток будет окончательным синтезом моих взглядов.

Я еду искать вне-Европейской точки опоры, чтобы иметь право и возможность судить Европу. Япония мне даст внеевропейскую точку для искусства, Китай — для государства, Индия — для философии.

Оттуда я вернусь через Полинезию и Южную Америку. Южную Америку, потому что там должна сохраниться свежее, чем где-нибудь, старая средневековая оригинальная и здоровая Европа.

Когда я это сделаю, я себя сочту вправе вернуться в Россию, писать, критиковать и оценивать. Теперь же я не чувствую себя вправе и поэтому молчу. За целый год я не написал ни одной статьи.

Я много раз начинал, но каждый раз чувствовал, что у меня нет своих мыслей, что это одна эклектика, критико-синтетические смеси, и что я же сам от них через год отрекусь.

Теперь у меня будут в путешествии два мощных орудия — слово и краски.

Когда я принимался за рисование, у меня не было другой мысли, кроме желания узнать психологию художника, и это продолжалось до тех пор, пока я имел в руках только уголь и карандаш, но когда я взялся за краски, меня сразу захватило, и я уже почувствовал себя художником. Это было странное чувство. В сущности, говоря откровенно, слова «колорит», «тон» раньше были для меня так же страшны и непонятны, как музыкальные термины. И открытие того, что у меня есть большое «чувство красок», было для меня совершенно открытием «гадкого утенка». В общем, я работал мало. Я учился у природы и у самого себя, как советуют парижские художники. Но еще больше я учился у Парижа. Нет города более колоритного и светлого в красках и более артистичного по внешности.

<...>

Я вполне преклоняюсь пред высотой буддийской морали. А социализм в этом отношении еще гаже христианства, на которое он, кстати, очень похож.

Я, между прочим, теперь смотрю на то и на другое как на ультракрайние выражения еврейской культуры в Европе с ее достоинствами и недостатками.

Наконец, самое основание социализма об справедливом разделе капитала я считаю ложным... <...>

Письмо 7. М. В. Сабашниковой

15/28 января 1904 г. Париж

<...>

«Мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была кратка и цельна, как греческая драма»¹. Мне жизнь представляется скорей арабской сказкой, в которую, как в восточном орнаменте, вплетены тысячи разных узоров. Один рассказ в другом. Обрывается одно и тогда начинается снова

старое — продолжается с того места, где оно оборвалось, вставкой. Как рифмы в терцинах, как деревянные яйца, вставленные одно в другом.

А «лишние дни» — когда они приходили, я всегда думал: так вот какие они, значит, это тоже так надо. И получалась только новая петля орнамента. Я так чувствую новизну жизни, что, может, мало ценю отдельные минуты.

Если каждый много раз перевоплощается здесь на земле (а я уверен в этом), то я знаю наверно, что я здесь только в первый раз, до такой степени мне все ново и интересно². У каждого есть свой возраст воплощений, и для внимательного глаза он так ясен.

Я знал совсем молодых людей, совсем не знавших жизни, но которым ни одно явление, ни одно душевное состояние не давало впечатления новизны.

А у меня часто проскальзывает полубессознательно мысль: «Ну — теперь пока все осмотреть в общем, а там успею и после».

Такое богатство минут, что не хочется их и считать. <...>

«Все завершено, только лучи достигают до нас». Да, конечно, это так... Но только где наше «я»?

Можно ли считать им наше крошечное *сознательное* «я» в его замкнутом светлом кольце, думающее только словами, условно алгебраическими формулами, или это великое темное «бессознательное», которое не имеет слов, но в котором записана вся история человечества, вся история животных форм, вся история мира?..

Сознание — ведь это — слова и речь. Только. А потом — организм — тело! Наши окошки наружу — наши восприятия так отрывочны. Цельное и единое для нас принимает раздробленный вид звука, света, теплоты, формы... В нашем видимом теле так же мало цельности, как и в видимом мире.

Это только часть одного целого великого организма, которое и есть наше истинное «я». Смерть тела для этого «я» — это то же, что выпадение молочного зуба. Замена их новыми — это перевоплощение (так говорят), но на самом деле это только продолжение старого. Когда у нас болит зуб, мы целиком сосредоточиваемся на этой боли и не замечаем существования других частей тела. Жизнь и сознание — это ощущение острой боли жизни, которое заставляет нас забывать о нашем истинном «я». Потому что жизнь — это боль.

<...>

Я так долго и с таким нетерпением ждал Вашего письма. Это такое счастье говорить об этом. Я вижу тут только таких людей, которых интересно понимать, но здесь нет таких, с *которыми* можно понимать.

<...>

Письмо 174. М. В. Сабашниковой

21 сентября / 4 октября 1905 г. Париж

<...>

Я только что получил твое письмо, где ты мне предлагаешь стать священником... Когда я читал его, то все время невольно улыбался, а теперь вот уж не улыбаюсь, а серьезно думаю об этом... Да... давай так играть. Только священником христианским и православным я не могу быть. Ведь ты знаешь, что христианство мне из всех религий дальше всего¹. Мне буддизм и Олимп ближе. Впрочем, нет. Готика мне бесконечно близка. Но это католичество. Я сейчас не могу так ясно все сказать и не хочу. Надо быть в жизни священником. Но путь к этому громаден.

Ведь у меня нет чувства Бога, у меня есть только чувство Тайны. Это мне делает буддизм таким близким.

А для священства необходимо чувство Бога — реального соприкосновения с Божеством, вне меня существующим, а я чувствую только Его во мне.

Митрополитство и мощи меня не соблазняют. А Богдановщина² и церковь, расписанная тобой, соблазняют очень.

Но если бы ты меня спросила, кем я предпочитаю быть — я бы предпочел быть пророком, хотя бы проповедником³.

Для священства надо принимать глубоко всю догматическую основу. А нет ничего более чуждого моему познанию, чем догматика. Я люблю свои и чужие фантазии. Я люблю из чужих мыслей ткать свои узоры, но это всегда произвольно. Мне нужен произвол⁴.

Но я еще не читал «Christianisme Ésothérique»⁵, так что еще не знаю, что тебя так вдохновило на это.

Письмо 207. М. В. Сабашниковой

7/20–8/21 октября 1905 г. Париж

<...>

Вот пришло еще твое письмо (от 19^{го}). Я радуюсь за тебя. Я бы завидовал тебе, но я горжусь тобой. Я бы не был достоин, и меня бы он¹ не допустил. Это я чувствую. Я чувствую в себе столько мелочей, столько ненужного,

столько преступного равнодушия к людям. Мне надо бороться с собой каждую минуту. А у меня наступают периоды лени, упадка. Вот сейчас, последние дни я снова чувствую себя бодрым и готовым к борьбе с собой, а пред этим мне было лень думать, и я безвольно отдавался течению жизни.

Быть всегда одним комком воли, вот что надо. Те неожиданные сюрпризы в виде не подозреваемых способностей и сил, которые преподносит мне жизнь², налагают на меня страшную ответственность. Я ничем еще не оправдал себя перед ними. Поэтому я еще не смею предстать пред лицо учителя. Ты мне pomoжешь победить себя?

Ты мне пришьешь лекции? Только переведи их³. Ты ведь знаешь, как я мало понимаю по-немецки. Это будет такая мука — читать со словарем... Сделай это в Москве. Хорошо? Напиши мне то, что он будет говорить о франкмасонстве. Это мне так важно. Мне ужасно важно это. Свои «Impressions Maçonniques» *⁴ я все откладываю. Я не могу сейчас ничего сказать об этом. Мне масонство, то, которое я видел, кажется страшно поверхностным и ненужным. Я не знаю, как быть теперь мне с моим масонством⁵.

<...>

Письмо 211. М. В. Сабашниковой

10/23 октября 1905 г. Париж

<...>

У меня почему-то страшная вера в мою силу спокойствия и радости, которыми я могу заражать людей, которые я могу отдавать людям. И странно — их я меньше и реже чувствую в себе последнее время, последние годы, но тем сильнее почему-то их действие на других... В моих руках столько сил, которые не от меня.

<...>

* «Масонские впечатления» (фр.).

Не переписывай мне всех лекций, переводи только важные места — афоризмы, формулировки. Мне ведь никаких доказательств и объяснений мысли не надо, а в лекциях их много, и они неизбежны. Когда они понадобятся, я сам их придумаю.

Письмо 213. М. В. Сабашниковой

11/24 октября 1905 г. Париж

Моя милая, милая Аморя... Как странно согласно все то, что ты пишешь из слов St<einer'a> с тем, что мне всегда, с детства, мерещилось... Земля как атом будущего мира¹... Это я всегда так себе представлял. Что же это? Или действительно у меня было раньше знание, я был уже посвящен и теперь все это вспоминаю? Или это врожденные знания человечества?² Ведь я же этого никогда раньше не слышал, не читал.

<...>

Письмо 215. М. В. Сабашниковой

11/24 октября 1905 г. Париж

<...>

Мне иногда чувствуется за гранью нескольких лет, что я поеду в Россию для России же... Но что теперь здесь надо что-то <то> взять, что-то сознать, чтобы принести с собой. У меня идут месяцы полного равнодушия к России, а потом вдруг просыпается где-то страшное беспокойство. Я думаю, это предчувствие. Что, говорил ли что-нибудь St<einer> об России? Что ждут от нее? Может, это плавильная печь нового Духа?¹ Что выплавится в ней?

И в то же время у меня сознание, что сейчас, сейчас еще не надо быть в России.

<...>

Письмо 217. М. В. Сабашниковой

13/26 октября 1905 г. Париж

<...>

Меня снова волнует то, что у меня нет отношения к тому, что делается в России. Я чувствую, что я не имею права не иметь отношения ко всему и в эти моменты. Но мое старое политическое отношение рухнуло окончательно; мне необходимо подойти ко всему с совершенно новой — теперешней — стороны знания. Как это связать с оккультизмом? Какое отношение русская революция имеет к духовному перевороту человечества в эти годы?

Как подойти к ней с эзотерической точки зрения?¹ Я так мало знаю, а время требует немедленного ответа. Я стараюсь ответ найти в «Истор<ии> Фр<анцузской> Революции»², но там ответ психологический. Как отражаются или чем вызываются на других планах подобные эпохи. У меня есть мгновения, когда мне кажется, что необходимо ехать в Россию. Знаешь, мне кажется иногда, что во мне что-то растет очень глубоко в подсознательном и что через несколько лет нам с тобой надо будет ехать в Россию за чем-то очень важным.

Я не знаю — это очень смутно.

Сейчас меня опять схватило что-то, и я читаю по 6 газет в день... Если можно — спроси St<einer'a> об России. Спроси, что надо делать? Что предстоит?.. Найди случай, возможность. Это страшно важно...

Совпадение этого брожения с духовн<ым> переворотом и те ожидания, котор<ые> возлагаются на славян³, — это не может быть случайно. Спроси непременно.

Это страшно, страшно важно⁴, ты непременно должна спросить.

Письмо 101. А. М. Петровой

14 декабря 1906 г. Петербург

Дорогая Александра Михайловна!

<...>

...мы решили в феврале ехать опять жить за границу: в Мюнхен и надолго¹.

Я очень много работаю все время: написал много стихов. Готовлю издание сразу двух сборников стихов: «Годы странствий» — для большой публики и «Ad Rosam»* — мистическ<их> и философ<ских> стихот<ворений> для немногих: маленькую книжку.

Если бы Вы знали, как захватывающе интересна сейчас литературная жизнь в России — те, которые еще не дошли до публики: напр<имер> Кузьмин <так!>, Городецкий, Ремизов.

Вяч<еслав> Иван<ов> на днях выпускает поразительную книгу «Эрос»².

Если б не здоровье М. В., которая окончательно не может переносить Петербургской жизни, я бы ни за что не уехал из Петербурга.

Но в Мюнхене нас ждут лекции Штейнера, которы<й> туда переселяется окончательно, и наши друзья гр<афиня> Калькрейт, Fr. Stinde³. Потом я, наконец, хочу изучить немецкий язык как следует и пройти через мир Германии так же, как прошел через Париж⁴.

Письмо 114. А. Р. Минцловой

10 апреля 1907 г. Коктебель

Милая, дорогая Анна Рудольфовна, я получил Ваше письмо от 6-го (пятница).

Оно меня волнует и вдохновляет. Я это непременно напишу¹. Я чувствую это. Но мне надо больше знать. Напишите мне больше, напишите мне сколько возможно о возникновении стихий жизни на разных планетах.

Сатурн — кровь и звуки. Солнце — зрение и? Луна — пол и?

Какая сила готовится на Вулкане?² Я все смутно предчувствую, все смутно вижу. Мне достаточно намека, одного слова, и вокруг него все станет собираться и формироваться.

<...>

Эта неделя для меня была днями напряженного беспокойства. Благодаря какой-то почтовой путанице все мои письма, адресованные Аморе³, возвращались из Петербурга в Коктебель с надписью «выехала в Феодосию», а сама она в течение 10 дней молчала, не получая от меня писем. Я телеграфировал Вячеславу, но не получил ответа.

* К Розе (лат.).

Сегодня, наконец, я получил письмо от нее, где она пишет, что не получила еще ни одного письма от меня и недоумевает⁴.

Это ежедневное ожидание было невыносимо и парализовало всякую мысль. Теперь я понял, что нет ничего более губительного для духа человеческого, чем ожидание. Поэтому знание будущего замкнуто для нас...

Еще одно горькое знание воплощения прибавилось во мне.

Я чувствую, что ближайший путь мой — это испытующий меня путь воплощений, мне раньше совсем неведомых. Я ведь не знал тогда до весны 1905 года в Париже, что есть «ожидание», «разлука», «болезнь», «боязнь потерять», «обида»⁵.

Теперь все это подымается на меня и смотрит мне в глаза. Смогу ли я сохранить свое радостное спокойствие.

Я молился о воплощении — оно дано. Я молился о *своей* боли — она есть. Но я верю, что я преодолею их, и они действительно будут радостными дарами моего человечества.

Письмо 171. А. М. Петровой

Около 11/24 ноября 1908 г. Париж

Дорогая Александра Михайловна!

Ваше письмо принесло с собою веянье далекой радости, и точно запах морского ветра потянул меня домой. Париж для меня кончен. Я это знаю теперь. Как созревший плод, налившийся соками дерева, я могу без боли и без сожаления отделиться от него. А веянье мысли будет всегда со мной. Но надо «домой», на родную Землю. И эта земля для меня не Россия, а лишь «Киммерии печальная область»¹. Чувствую, что лишь там могу «умереть и принести плод»². Знаю, что долго не вернусь на Запад. Если уйду в странствие, то лишь на восток. Малая Азия, Персия — они одни лишь манят меня теперь.

От Парижа мне уже нечего брать. Сердце уже перестало впитывать соки, кипящие кругом. Я не могу больше писать о Париже. Источник ритма здесь иссяк для меня. Я не мог написать за все эти месяцы здесь ни одного стихотворения.

<...>

Письмо 175. Е. О. Кириенко-Волошиной

Около 14/27 декабря 1908 г. Париж

<...>

Амору мне бесконечно жаль, и в то же время я чувствую, что я становлюсь от нее все дальше и дальше и что она, боясь больше всего, что я люблю ее и страдаю, старается оттолкнуть меня. Она нарочно переводит все наши отношения на отвлеченные рассуждения на моральные темы, так что переписка между нами стала невозможной. В Париж приехать на Рождество она отказалась безусловно. <...> Дело в том, что она очень хочет меня спасти, меня учить, обращать в теософию. Это все надо преодолеть. Ведь я все эти годы был целиком в теософии, но теперь, не разрывая и не отказываясь от прежних мнений, я их углубил и по-своему связал их с реальной жизнью и искусством. Но когда я ей пишу об этом, она как будто совсем ничего не понимает и, возражая мне, высказывает те же самые мысли, но лишь иными словами.

Я хочу застать ее неожиданно, врасплох и этим избежать тех ужасных первых часов и дней, которыми начинаются неизбежно все наши встречи с ней.

<...>

Письмо 241. В. И. Иванову

17 мая 1910 г. Коктебель

Благодарю за слова ко мне и обо мне¹. Любовь к тебе велика и не умрет. Но *не судить* тебя не могу. А судию во мне вызвал к сознанию и бытию ты сам. Я же перебороть его *пока* не могу. И он судит тебя гневно и негодуя. Ты сам знаешь.

Твои слова обо мне справедливы: таинство Жизни для меня закрыто — я его *понимаю*, и не умею жить.

Твое предостережение от моей поэзии я бы принял, если бы оно не было голословно. Такие слова требуют точных указаний, анализа и комментария. *Мне* оно понятно, но понятно ли тем, кого ты от меня предостерегаешь? Недоумение Кузмина² (которого за статью благодарю

и упреки в перегруженности принимаю) перед тем, что он называет моим «окультизмом», свидетельствует, что эта самая важная сторона моей лирики (и «опасная») останется темна, б<ыть> м<ожет>, для всех, кроме тебя. Я же стою на том, что лирика не должна быть прикована к сфере Камы, а должна захватывать Манас³, и моя точка зрения всегда оттуда. До свиданья. Максимилиан.

Письмо 82. А. М. Петровой

1/14 марта 1906 г. Париж

Милая Александра Михайловна!

<...>

О, если б Вы знали, о чем мне только не надо будет говорить с Вами: о буддизме, об окультизме, о всем эзотерическом знании¹.

Для меня этот год был страшно важным не только в этом смысле. Для меня открылся целый мир совершенно нового знания и нового миропонимания, новой морали. Я думаю, что я только Вам впоследствии смогу рассказать все мистерии, через которые я прошел. Я это слово употребляю не в смысле обрядов и ритуала, а тех необычайных обстоятельств жизни, чрез которые меня последовательно привела судьба.

В моей жизни появился еще один человек, с которым мне бы страшно хотелось познакомить вас, потому что я знаю, что для Вас встреча с ним могла бы иметь решающее и определяющее значение.

Это Анна Рудольфовна Минцлова²... <...>

В средние века она, конечно, была бы сожжена уже давно на костре как колдунья, и не без основания. Она читает на всех языках, в том числе по-латыни, по-гречески и по-санскритски. Она почти слепа и узнает людей только по ореолам вокруг головы, почти всегда умирает от болезни сердца, живет переводами Оскара Уайльда³; нет ни одного человека, который, приблизившись к ней, остался бы вполне тем, чем он был. На теософском съезде в Лондоне в прошлом году ее встречали с глубокими почестями⁴.

Она меня ввела во многие области тайного знания и познакомила меня с самым гениальным из современных Европейских окультистов, профессором Штейнером⁵, известным в литературе своими трудами о Гёте с эзотерической точки зрения⁶. Он меня пригласил слушать свой курс, читанный им в Берлине только для нескольких человек, в числе которых была и Маргарита Васильевна.

В мае Штейн<ер> должен приехать в Париж читать курс о «Грядущей Революции» — он хочет читать главным образом для русских.

Более поразительного и гениального лица⁷, чем у него, я никогда не видел в жизни, и та история мира⁸, которую он раскрыл в своем курсе, так поразительна и необычайна, что я не могу Вам дать в письме и намека. Это грандиозный синтез точного знания с боговдохновенностью.

Я не могу писать об этом, но я знаю, что это именно то, что Вам теперь надо, что Вы теперь ищете, и буду Вам летом говорить обо всем.

Штейнер ищет теперь русских, потому что в настоящее время Россия — славянство должны стать ковчегом тайной науки⁹. Правоверные теософы и оккультисты его ненавидят и кричат, что он раскрывает те тайны, о которых нельзя говорить. Но он говорит, что время пришло раскрыть многое¹⁰, и берет учеников не из тайных школ, а того, кого он сам наметит.

Ох, не знаю, не сочтете ли Вы все мое письмо за бред. Я говорю, что об этом надо с глазу на глаз беседовать, а не в письмах писать. <...>

Письмо 20. Ю. Л. Оболенской

21–25 октября 1913 г. Коктебель

<...> Я всегда думал, что мы в мире вовсе не для того, чтобы путать и портить, под предлогом исправления сущего, а для того, чтобы *понять*...

<...>

Ведь искусство есть нахождение настоящих наименований для окружающих нас вещей. Назвать по имени — значит расколдовать вещь от ее плена в материи: выявить *радость*, в ней заключенную. Конечно, говоря о Вашей радости, я говорил и думал о том чувстве (подобном чувству равновесия), которое восстанавливает всякое склонение души под напором жизни. Есть радость органическая — растительная. Но она — как жизнь без смерти. Вот у меня долго такая была. Я ее потом во всех горьких травах вываривал. Ах, не знаю, выварил ли. <...> Вот Штейнер говорит (и я внутренне всем существом чувствую правду этого), что судьба, обстоятельства, склонности и страсти и желания определяются тем, что дух человека до рождения страстно их жаждет, как необходимые для него преодоления и трудности¹. Чувствуете вы, как это верно? И что Ваша *радость* была изначально. А камень, из которого ее высекать пришлось, Вы сами себе пожелали.

Вот о Штейнере. Мне хочется Вам рассказать о моем отношении к нему, чтобы Вам стало понятно, почему я вдруг стал Вам советовать читать его. Я его впервые услышал в 1905 г.² Насколько это было важно и много, можете судить по тому, что русский 1905 год для меня прошел как что-то очень далекое, призрачное, почти не коснувшись меня.

В словах его меня прежде всего поразило то, что это было широкое обоснование и обобщение тем отдельным мыслям, убеждениям, к которым я в то время сам пришел, но которые находились в полном противоречии с теми научными положениями, из которых я исходил. Этот первый год дал слишком много. Но потом началась борьба и протест. Протест больше против штейнеристов, в которых я видел людей, «изнасилованных истинами», чем против него самого. Не принимал я тоже и догматизма его последователей³. У него самого нет его. Он всегда повторяет: «Относитесь к моим словам как <к> художественному произведению, не больше». Потом было у меня все время то же противопоставление оккультному познанию познания художественного — символического. Но в результате выходило, что я все же возвращался постоянно к его книгам и к его формулам. Одним словом, сейчас я почувствовал настоятельную необходимость вернуться в его школу. Все это смутно назревало в течение лета и выявилось и определилось теперь, во время приезда Маргар<иты> Васильевны.

И вот то, что я видел у Вас на руке⁴, и то, что слышал из отдельных фраз, — все мне говорит, что он Вам может дать очень много. По-русски его есть «Θεοσοφία» (Теософия), пер<евод> Минцловой⁵, «Путь самопознания в 8 медитациях», пер<евод> Марг<ариты> Васильев<ны>⁶, «Мистерии Христианства и Древности»⁷. Все эти книги написаны страшно сухо. Они почти конспекты. Все они об одном, но с разных точек зрения. Они абсолютно не художественны. (Лекции его, живое слово — как раз наоборот — поразительно художественно⁸). Кроме того, есть по-французски его же «L'Initiation»⁹. Если позволите — я Вам пришлю ее, т<ак> к<ак>, верно, по-французски в Петербурге ее нет. Я не знаю, как Вы владеете немецким — потому что тогда все гораздо проще.

Письмо 23. Ю. Л. Оболенской

10 ноября 1913 г. Коктебель

<...> Нет, я не уничтожаю растительной радости¹. Я преображаю. Бессознательной она бывает, пока не замечает себя. А когда заметит — замутится. Тогда ей надо стать сознательной, а для этого закалиться

во всех горьких и едких огнях. Вот о чем я говорил. <...> Я ведь, в сущности, не люблю и не хочу «Чуда». Потому что больше всего люблю закон. Не поймите меня ложно: дионисическое претворение воды в вино и христианское — вина в кровь я принимаю не как чудо, а как выявление высшего порядка закона. Но чувствую это как личную свою ограниченность. Мне не хватает личного отношения к Христу. (А без факта его быть не могу никак). <...> Мне хочется еще точнее сказать, что Вы мне дали осенью. У Вас был непосредственный интерес к человеку. Вы дали в своей душе отпечатлеться оттиску его лика обобщенному, облагороженному, но верному. (Как те портреты, которым чужда карикатурность подобия, но которые отражают реального, но лучшего человека. Этот дар у Маргар<иты> Васильевны² есть в портретах). Такие отпечатки дают очень, очень много. Наоборот, неверная и произвольная идеализация так же тяжела, так и денигрирование³ лика, если только не тяжелее. (Вот с Майей⁴ ужасно тяжело было летом).

Такое принятие человека ради него, а не ради себя, одна из величайших услуг, которые можно оказать. И делая это — Вы в то же время даете реально очень много себя. Я эту способность очень ценю, б<ыть> м<ожет>, потому, что у меня ее мало. Мне все кажется, что словами и теориями можно больше дать. И знаю, что не так, а ничего не выходит.

Знаете, как важно положить себя как бы на сохранение в душу друго<го> человека. И знать, что никакая рябь жизненных событий на том лице не отразится. Вот Ваш глаз видит человека обще, реально и благородно. За этим к Вам и идут.

Вот адрес Черубины⁵ <...> Я не знаю совсем, какая она теперь. Я не видал ее четыре года почти. Напишите мне, какое она произведет на Вас впечатление. Сейчас она, кажется, очень плохо себя чувствует физически. Но физическая боль ее не покидала почти с рождения. Поговорите с ней подробнее о штейнерианстве. Она им всецело живет теперь.

Пушкин пришел в полной исправности⁶. Я Вам не написал, вероятно, потому, что очень волновался. У него удивительное лицо. Я его пропитал маслом, слегка сгустив тень во впадинах, и он стал поразителен. Очень жду Дост<оевского> и Петра.

Попросите у Лили (Черубины — она тоже Лиля), чтобы она Вам дала «Путь познания сверхчувственных миров» («L'Initiation» — во франц<узском> переводе)⁷. Там очень широкий, последовательный и обоснованный план духовной дисциплины. Я чувствую в Вас внутреннюю любовь к самодисциплине, и Вам эта книга будет важнее всего. А те заповеди из «Голоса Молчания» («Если душа твоя купается» и т. д.⁸), которые не могут «разделиться на Вас без остатка» — это ведь дисциплина другой расы и другого порядка душ.

Я тоже этого никогда не мог принять и, чувствуя конечную истинность индусской теософии, против воли и желания отвергал эти пути. И был вполне прав, потому что пути европейские, пути христианские совсем иные. Штейнер дает именно христианский путь. И что меня всегда поражает глубоко и в его книгах и в лекциях, что каждое его слово чувствуешь обращенным лично к себе и всегда о главном⁹.

Его дисциплина всегда дисциплина мысли и *понимания*, а не дисциплина чувств и страстей. Он всюду устанавливает связь и преемственность научным европейским знаниям, т<ак> к<ак> сам предварительно прошел естественно-научную и философскую дисциплины и был учеником Геккеля¹⁰. Поговорите об нем подробнее с Лилей (Черуб<иной>). Прочтя «Мистерии Христианства»¹¹, Вы будете уже отчасти в курсе дела. Что отвращает часто от Штейнера людей мистически настроенных, это то, что он всякое чувство и порыв проводит сквозь дисциплину познания. Но это именно меня и привлекает к нему. <...>

Письмо 32. Ю. Л. Оболенской

6–7 декабря 1913 г. Коктебель

Сегодня одновременно с Вашим письмом, Юлия Леонидовна, я получил маленькое письмо от Лили (Черубины). Она пишет: «Оболенская была у меня два раза. Я не знаю, было ли ей хорошо со мной. На меня же она произвела глубокое и радостное впечатление»¹.

И мне все-таки страшно хотелось бы знать, о чем Вы с ней говорили... Нет, в ней есть и хрупкость и надломленность. Они всегда были скрыты — раньше особым жизненным (очень талантливым) юмором, который создавал иллюзию равновесия на краю безумия и полной потери себя в своей фантазии. Теперь... Вы очень хорошо определили: «индивидуальность, заслоненная истиной»². Я это так чувствую в ее письмах. Чувствую это постоянно и в Маргарите Васильев<не>³, и страшно протестую всем существом против этого. Видите, когда человек говорит вещи, абсолютно не согласуемые с научным познанием и по существу не доказуемые иначе, как личной проверкой, — я ему верю, потому что он ссылается на свой опыт. Но когда эти же вещи слышу я от другого, который не сам узнал — а принял их, — я чувствую себя пойманным в клетку. Мне трудно с ними говорить. Ах, а есть еще люди не заслоненные, но изнасилованные истиной. Впрочем,

среди штейнерианцев их меньше, чем среди теософов. Но в то же время — как иначе?⁴ Представьте себе, что человек приносит — не истину — а новую систему познания мира, которая расходится со всеми ныне существующими дисциплинами науки. И не то чтобы он его открыл и сам постигал — нет, он приносит окончательные результаты огромного опыта, совершенного в других сферах и мирах познания. С чего ему начать? С азбуки — потому что никто из его слушателей иначе не поймет и первых слов. Поэтому все его книги — только грамматика. <...> Его лекции (циклы) вводят глубже, но это все же продолжение той же грамматики — синтаксисические правила языка, но еще не речь.

И характер его убедительности странен. Помните, я говорил Вам, что меня вначале же поразило подтверждение разных моих собственных, казавшихся чуждыми всему современному познанию мыслей. Это не вполне так. Это не было подтверждением: он давал системы, из которых, как следствие, вытекали те, мои мысли. Т. е. давал логическую стройность закона тому, что являлось личной интуицией. Я должен сказать, что ужасно не люблю учебников, а когда мне начинают что-нибудь толково и подробно объяснять, я сразу глупею. <...> Но есть сознание, что во что бы то ни стало надо пройти сквозь учебники, чтобы заговорить. <...>

«Землю целуй неустанно»... и еще «Каждый пред всеми за всех и за все виноват» — это самое жгучее, пронзительное, что есть в Достоевском⁵. И я как раз думал об этом, когда читал у Шт<ейнера> подробное объяснение того, что, как в предыдущем планетном цикле земля вырабатывала ту *мудрость*, которую мы находим теперь повсюду в сочетаниях и соотношениях внешнего мира, так теперь задача земли — *Любовь*, которая должна проникнуть все, как проникла уже *Мудрость*⁶, то от этих подробных, долго объясняющих и толкующих слов, когда они замолкали, зажигалось то, что горит у Достоевского. В этом есть что-то сначала оскорбляющее: по-школьному изъяснить то, что у другого высочайший порыв интуиции сердца. Но ведь антропософия и есть человекопознание — анатомия души и духа, т. е. выявление высшей мудрости, заложенной в формы жизни. Но вскрытие цельных форм кажется всегда оскорбительным в первый момент. (Вспомните анализ стиха, ритма!).

И в конце концов — именно в этой исключительной деловитости и ясности, чуждой всякого художествен<ного> образа и лиризма, лежит то, что вызывает глубокое доверие. Человек говорит не для себя и не о себе, а только для тех, к кому обращается. А раз принятое — прорастает и пафосом и образами. Но вот этот-то период обучения грамоте и внутреннего прорастания — он и закрывает истиной индивидуаль-

ность. Но от этой школы никак не уйдешь, раз ее коснулся. Значит, нужно пройти, как можно скорее (C'est mon cas*).

<...>

Только не подумайте, что я лично стремлюсь <к> ясновидческому познанию и опыту. Это мне (т. е. стремление) глубоко чуждо, если оно не вытекает из гармонического развития всего существа, если не является необходимостью. Нет, только понимать алфавит вещей... <...>

Ой! два часа ночи. Надо спать. На море шторм с юга. Ущербный месяц, Сатурн с Марсом по бокам и Сириус захлебывается от света, точно Венера. Покойной ночи!

Письмо 37. Ю. Л. Оболенской

20 декабря 1913 г. Коктебель

<...> Ох, очень трудно отвечать о Штейнере. Я ведь тоже его глотаю с трудом. Главное, мне трудно то, что он не *мне* все это говорит, а какому-то большому количеству людей, мозги которых совершенно иначе устроены, чем у меня. Чтобы воспринимать, мне надо учиться двигать мозгом по-ихнему, и я глупею от этого. А вместе с тем *то*, что он говорит, в конечном результате для меня так важно, что, отойдя, я вновь прихожу к нему и в конце концов ни у кого не могу найти тех ключей, что мне недостает. Правда, в то время, как я его встретил на своем пути, у меня уже были две уверенности: первая — в существовании древней Тайной Доктрины, бессмысленные обрывки которой есть понемногу во всех мифах, суевериях и так называемых «окультных науках», а вторая — в иерархическом устройстве мира, т. е. что и над нами и ниже нас существуют мыслящие и чувствующие воли.

А кроме того я в то время уже достаточно путался в схемах и системах различных оккультистов, которые всегда и намеренно кое о чем умалчивают. Так что была подготовка, мог оценить честную ясность концепции.

Что смущает больше всего, когда читаешь Шт<ейнера> — это отсутствие *Санкции* истины в личной трагедии и чувстве. Но это исчезает, когда видишь и слышишь лично. Если Вы заинтересуетесь и проглотите его, то дальше начнутся еще новые соблазны — это его отношение к Искусству... А все-таки я учу немилый мне немецкий язык для того, чтобы дешифровать его «циклы».

* Это мой случай (фр.).

Вы задаете вопрос: «откуда невмешательство посвященных?». Так? Но его вовсе нет, это <го> невмешательства. Вмешательство всюду. Больше — руководство. Но никто не может и не должен *нарушать* законов. Воздействие идет постоянное в той области, откуда лучатся законы. И люди в большинстве случаев воспринимают эти влияния, как собственные свои побуждения. Да они только тогда и действительны! Ведь действительно же целый город молитвами одного праведника держится. Разве не держалась в николаевское царствование Россия молитвами Св. Серафима, во время которых от одного внутреннего напряжения его воли изба ходуном ходила. А <в> случаях отдельных людей... то ведь человек обладает *своей* свободой и *своей* судьбой, и помочь ему можно только когда он сам этого хочет. А есть мгновения, когда никто и не имеет права просить помощи, и никто и не может помочь, потому что надо полной свободной своей волей решить.

<...> ...конечно, каждый более или менее поздно придет естественным эволютивным путем к познанию сверхчувственных миров. Но раз он знает путь более простой и скорый, то должен естественно выбирать его. Меня долго шокировала эта парниковая выгонка растений, как я ее называл¹. Но это неверно. Кто раз подошел к сознанию самого себя в этой области — останавливаться это значит идти назад. Нужно пользоваться протянутой рукой. И благополучия в этом пути нет никакого: мы ведь этим только быстрее становимся лицом к лицу с теми великими силами и волями, которые до тех пор для нас скрыты благодетельной слепотой и попечительным незнанием, которые охраняют нас от сверхчувственной действительности — как чрево матери — ребенка до рождения в мир.

А об Стр<ашном> Суде: ведь судить будет Христос — т. е. наше собственное внутреннее «Я»². Ведь будет же момент, когда придется сдавать отчетность по эксплуатации планеты, называемой Землей... <...>

Письмо 95. А. М. Петровой

1/14 сентября 1914 г. Арлесгейм

<...>

Я и теперь все с изумлением думаю о странной четкости судьбы, которая увела меня в самый последний день из России. Останься я тогда в Феодосии на день, чтобы дожидаться Кандаурова, как хотел и обещал — я бы уже не попал в Дорнах.

Я приехал сюда совсем разбитый и душевно, и физически¹ и теперь постепенно воскресаю. Между прочим, почти наполовину похудел и чувствую удивительную легкость поэтому. Рассказать подробно про «Бау» (Johannesbau) очень трудно. Все, что писала Маргарита², было все верно и в то же время не убедительно. А самое Здание очень убедительно, так как во всем чувствуется глубокая закономерность. Все физические формы вытекают последовательно из духовных, не символически, а как их непосредственная проекция на физический план, и если иногда они и непонятны, то, во всяком случае, эта закономерность чувствуется во всем и создает архитектурную логику и монументальность. Это действительно ни на что из существующих зданий не похоже. По тем фотографиям, что присылала Маргарита, судить нельзя, т<ак> к<ак> они дают внешний черновой силуэт, который совсем изменится; а главный смысл и новизна Бау — внутри. Масса работников как раз в дни моего приезда была отозвана в свои страны на военную службу. Так что теперь работа идет медленно. Любопытно то, что Штейнер все время сроком окончания Бау назначал 1 августа. И если бы не случайные человеческие недоразумения и злоупотребления, оно было бы закончено к этому сроку. (День начала войны).

Теперь все пошло по-иному, и конец постройки трудно предвидеть. Он, т. е. Д<окто>р, был потрясен, я его видел в первый раз — с лицом утомленным и измученным как никогда. Он говорил об Архангелах народов и об войне. Нет, я чувствую, что мое письмо становится похоже на письма Маргариты и будет только раздражать отрывочно выхваченными сведениями.

<...>

Что сказать о духе, проникающем работу? Я не застал уже того периода, когда все были охвачены одним энтузиазмом осуществления — теперь работников мужчин стало мало, и каждого в глубине грызет тревога и страсть войны. Но уже изумительно то, что сейчас мирно и братски работают над одним созиданием немцы, русские, французы, австрийцы, голландцы... Те национальные трения, что проскальзывают, так ничтожны... ограничиваясь почти исключительно тем, что кто-нибудь из немцев с «неприличною» радостью сообщит о победе в присутствии русских или наоборот.

Я живу вместе с Маргаритой, в одной комнате с Сизовым, который должен был как раз уехать в Россию, но его вернули в самый день моего приезда. Часто вижу с Андреем Белым³. Он совсем преобразенный и пламенеющий. Он читает мне часто свои записи неопубликованных циклов и много рассказывает. В его речах все преобразается и одевается в подобающую и верную одежду слов. Говоря с ним, совсем не чувствуешь той преграды суконных слов и обесцвеченных записей (даже стенографических), что так мучили прошлую зиму. <...>

Письмо 100. Ю. Л. Оболенской

16–19 ноября / 29 ноября — 2 декабря 1914 г. Арлесгейм

<...>

Я удивляюсь своей судьбе, которая так систематически уводит меня из России в моменты кризисов — в 1905 — и теперь. И оба раза к Штейнеру. Ведь в 1905 я впервые с ним встретился. (А теперь ведь я буквально за ½ часа до объявления войны и закрытия границ выехал из Германии!). Я знаю, что это большое благо, что я здесь. Но нет у меня ни спокойствия, ни глубины, ни ритма. За волнами подъема и очищения снова приходят дни томления. События внешнего мира делают невозможным правильную внутреннюю работу. Не вижу сейчас иных личных путей, а в то же время корни, связывающие меня с этими, рвутся слишком легко. Я чуть было не бежал несколько недель назад в Париж. Но теперь он вновь далеко отошел от меня. Посреди всей потерянности душевной единственно неизменным и радостным оставалась и остается живопись. Я не переставая все это время делал композиции и только в эти часы внутренне жил. Здешние холмы, буковые леса и замки до удивительного чужды душе. Они нестерпимо «живописны» и только теперь, с наступлением зимы, стали немного более терпкими. Первые месяцы моя работа при постройке заключалась в скульптуре по дереву. Но это шло плохо. Болела переломленная рука, немели пальцы, а душа рисовала. Одно время я совсем было перестал ходить на работы. Теперь же наконец получил живописную работу интересную и прекрасную. Должен написать занавесь (21 метр на 19 = 400 квадр<атных> метров!). Сцена и пейзаж из «Geheimnisse» Гёте, когда брат Марк подходит к монастырю на скалах¹. И какое совпадение: я задумал его по воспоминанию испанского монастыря Монсеррато под Барселоной, где был когда-то, а сегодня из одного письма Вильгельма Гумбольта узнал, что Гёте именно имел в виду Монсерратский монастырь². Эта работа и недавняя аудиенция у Штейнера решили, что я здесь остаюсь. А если проеду в Париж, то весной и только на столько, сколько надо будет для работы в Национальн<ой> Библиот<еке>. Над занавесью этой буду работать вместе с одной дамой (не художн<ицей>, но ясновидящей). Записать 400 кв<адратных> метр<ов> это работа все-таки нескольких месяцев. Кроме того, в связи с этой работой мне необходимо будет сделать ряд рисунков с Johannesbau (этого просят вообще здесь не делать), и эта возможность меня тоже радует очень. Отношение мое к антропософии осталось почти то же: я принимаю целиком самого Штейнера, но очень плохо принимаю общество и часто делаю из слов его совсем другие выводы.

Что касается национальных отношений всех работающих здесь, то можно сказать, что война совсем ничем не отразилась. Спорить и не соглашаться приходилось о ней только с русскими же, которых здесь около 20 человек. Но в смысле работы я все-таки ждал большего. Готические соборы строились иначе, думается мне. Много все-таки здесь обособленности остается. Нет полного погашения себя в искусстве. Но хочется видеть дальнейший ход, чтобы судить. Живопись только начинается. Хочется увидеть результаты, применение, исполнение.

Что касается самого здания, то его принимаешь чем дальше, тем больше и глубже. Но его надо смотреть не снаружи, а изнутри. Снаружи только чехол, совсем условный.

То, что во мне нет энтузиазма сейчас — вина только во мне и в том кризисе, которого сейчас не избежат самые уединенные души. Я думаю, т. е. надеюсь, что теперь в живописной работе удастся связать себя по-настоящему с этим храмостроительством, о котором я так мечтал.

<...>

Как трудно писать слова. Я совсем разучился выражать себя литературно. Только в живописи радость, забвение, успокоение ото всей смуты снаружи и внутри. Я спрашивал Штейнера, отчего так случилось во мне. Он ответил мне, что теперь очень трудно что-нибудь сделать в других искусствах, но что перед живописью открыты пути. Говорит о том, чтобы всматриваться в чистый цвет, так, чтобы форма сама из цвета рождалась, и чтобы все формы были в движении.

<...> Отход к живописи от литературы ведь у меня все идет и должен очевидно осуществиться. Значит, еще долго теперь я буду неустроенным и без заработка. А работа над книгой³ все перебивается и затягивается и становится все труднее, так как какое-то чувство слова теряется. И потом это всегда то действие, что производит на меня Штейнер: он дает так много вперед из познаваемого, что нет в это время возможности писать свое, пока все узнанное не переработается.

Письмо 127. Ю. Л. Оболенской

2/15 мая 1915 г. Париж

<...>

Буду здесь¹ летом как <на> скалистом острове, лицом к лицу только с войной, и буду единоборствовать с нею внутри. Мое отношение к войне теперь очень четко, но не подходит ни под какие мерки: я определенно

хочу победы над Германией, определенно стою на стороне союзников. Но в то же время определенно враждебен этой войне (но не войне вообще). Мой враг — демоны машин (истребления и промышленности). Сейчас идет совсем не борьба рас, а их торжество над человечеством. Из этой войны не возникнет пересмотра моральных основ Европ<ейской> культуры. Победа над Германией принесет пользу только ей — моральное обновление. Но германская культура мне враждебна не в отрицательных, а в положительных сторонах. Мне внутренне враждебно то, что я уважаю в ней: ее философия, поэзия. Мне и в антропософии неприемлема — вся немецкая форма ее. Мне надо все предварительно на свой язык перевести. Я много раз насильно старался заставить себя полюбить Германию, и в последний раз теперь — в Дорнахе. Из этого ничего не вышло. Но этой враждебности, конечно, нет места, пока идет война. Но после войны — другое дело. В исторической миссии народов я вижу диаметрально противоположные задачи славянск<ого> и германс<кого> духа. И это по существу не противоречит Штейнеру². Но Штейнер — славянин³, работающий над германским миром, — это очень важно. Я принимаю сущность и только формы перестраиваю для своей души.

Пожалуйста, покажите Елисавете Ивановне⁴ все мои стихи. Она, верно, огорчена, что я Дорнаху изменил ради Парижа? Теперь я могу себе дать отчет, как тяжело было там в сущности: на всем творческом лежали цепи. Все действительно свое — казалось ересью. Я не мог там написать ни одного стихотворения. Я не осуждаю и не отрицаю — но там мне не место. Я рад, что был там, я очень много вынес. Но оставаться там — мне не было смысла. (Я даже в кинематограф в Базель ходил — а это предел душевного падения).

Письмо 8. А. М. Пешковскому

12 января 1918 г. Коктебель

<...>

Словом, нужно быть готовым каждую минуту к тому, чтобы остаться без крова самим. Но я думаю, что это сейчас нормальные условия жизни в России, и как мне ни жалко моей библиотеки и мастерской, я все же продолжаю думать, что «все к лучшему в этом лучшем из миров»¹.

<...> Ты спрашиваешь, что я думаю о теперешних событиях?² Посылаю тебе несколько новых стихотворений³. Они тебе скажут глубже и больше. Т<ак> к<ак> при теперешнем состоянии литературы едва ли удастся

скоро их напечатать, то я буду тебе очень благодарен, если ты их прочтешь, покажешь и дашь переписать наивозможно большему количеству людей. Не знаю, примешь ли ты мой оптимизм: в смысле устройства земных дел я не вижу их улучшения в ближайшее время, но все происходящее мне кажется очень плодотворным в смысле исторического опыта: Россия так долго была лишена его многовековой государственной опекой, что ей необходимо наверстать упущенное. А оптимизм и оправдание действительности я считаю первым и единственным долгом по отношению к миру.

<...>

Что касается религиозной жизни, то хотя я в церковь и не хожу и не крещусь, но живу очень религиозно сосредоточенно и вижу современность только с религиозной, а не с политической точки зрения⁴.

Письмо 127. А. В. Гольштейн

10/23 сентября 1920 г. Коктебель

<...>

Для нас эти годы прошли благополучно, хотя фронт несколько раз перекатывался через нас, мы видали и бомбардировки, и десанты, но никуда не убегали, и, может быть, это и сохранило до сих пор нетронутым наш дом.

<...> ...Здесь мы испытали все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием. Жестокости расправ с обоих (так! — *Сост.*) сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь. Закон уподобления на противников действует во всей полноте. Рядом и на глазах совершается все то, о чем мы когда-*<то>* с ужасом читали в истории Смутного времени, Петровских и Иоанновских казней, и в то же время и воображение, и сердце каким-то образом приспособляются, притупляются, а линия индивидуальной судьбы так гнется, что проходишь безопасно и невредимо сквозь тесный строй опасностей.

Большевиков мы видели у себя дважды, и первое их господство — разложение Черноморского флота — было кроваво и страшно. Второе — томительно и тяжело, потому что мы были верстах в пятнадцати от линии фронта. Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским.

Боюсь, Александра Васильевна, что мы с Вами и теперь, как и во время войны, во многом не будем согласны, потому что и теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность¹. Но это мне очень помогало и помогает в тех условиях, в которых

приходится жить. Я свободно подхожу к большевику и к монархисту, и к матросу, и к генералу. И вот неожиданный опыт гражданской войны: чем человек более жесток и более обогрен кровью, тем легче с ним иметь дело, если подходишь к нему без злобы, без страха и без осуждения. Проливаемая кровь смягчает волю, делает ее пластичной, как воск, подчиняющейся чужой воле почти как под гипнозом, я это проверил многократно в разных столкновениях с самыми страшными начальниками — Контрразведок и Чрезвычайек, когда приходилось отстаивать чужие жизни².

Но никогда, кажется, мне так хорошо не работалось и не писалось, как в эти годы. Обстановка постоянной небезопасности и неуверенность в завтрашнем дне дают работе особую сосредоточенность. Но не будучи ни с одной из борющихся сторон, я в то же время живу только Россией и в ней совершающимся, и все стихи мои, написанные за эти годы, отвечают только на текущие события. <...>

Письмо 291. Ю. Л. Оболенской

25 декабря 1923 г. Коктебель

<...>

Это многолетнее пребывание в Коктебеле не тяготит меня. Благодатный дар восторга перед зрелищем неба, гор, который иссякал в годы наших ужасов, снова вернулся ко мне. Но мне всегда не хватает зеркала понимания того, что я пишу, не хватает благосклонного и критического уха, которое бы помогало мне весить и судить мои опыты и достижения. Главная работа этих лет (22 и 23) — это «Путями Каина». <...>

Письмо 86. А. П. Остроумовой-Лебедевой

25 ноября 1925 г. Коктебель

<...>

Спасибо за подробности о смерти Ильи Марковича¹. Нас известила о ней открытка Мар<ии> Мих<айловны> без всяких подробностей². Его глубоко жаль, и чувствуешь большое уважение к его мужеству

и твердости. Но... мысль невольно останавливается на том, что если бы его домашняя обстановка была бы проникнута гармонией и любовью, то ему не захотелось бы укоротить тех немногих дней, что ему оставались для жизни, и что если бы он принимал антропософию как следует — т. е. как дисциплину познания, а не как религию, то он не «разочаровался» бы в ней и не совершил бы такого глубоко нецелесообразного и очень мучительного (духовно) акта, как самоубийство.

Письмо 102. Е. Л. Ланну

4 января 1926 г. Коктебель

<...>

Я вышел победителем, т. е. нашел свое оправдание миру и человеку. Выход мне казался простым и доступным всякому. Казалось, что многие должны были пройти в эти годы через такой же «катарсис». Хотелось поделиться, объяснить, сейчас же *реализовать*. Поэтому писал необычайно много. Разочарование моей поездки на север в 24 году не литературного рода, не личного самолюбия. Но я с ужасом увидел, что *никто* не пережил революции в этом смысле и что моя «истина» не нужна, хотя стихи мои производят сильное (эстетическое) впечатление. Та полоса творчества этим и закончилась.

Письмо 528. С. Н. Дурылину

28 декабря 1930 г. Коктебель

Никогда еще не чувствовалась такая полная отрезанность не только от заграничных центров, но и от Москвы. Почти никто ни о чем не пишет. А если письма приходят, то они совершенно вне всяких известий не только литературных, но и личной жизни. В нашей личной жизни все благополучно. Мы не болеем, чем-то сыты, откуда-то к нам падают непредвиденные деньги. Но все, что делается кругом <?>, очень тяжело.

М. С. часто плачет целыми ночами... А у меня опускаются руки на всякую художественную работу.

В смысле же здоровья я чувствую себя хорошо, и все последствия прошлогоднего «удара»¹, кажется, совсем сгладились, но угас восторг о жизни и умиление о людях.

<...>

Вообще я в большом упадке духа и унынии. Чувствую настоящую потребность взять себя в руки и поднять дух постом и молитвой и вновь зажечь в себе «творческое горение».

У меня и раньше бывали зимой в Коктебеле такие времена угашения духа, но в этом году особенно.

Мне тебе стыдно об этом писать, потому что твое положение в сто раз хуже моего², и я чувствую, что не имею никакого права на такую хандру. Да вообще самое понятие «хандры» и уныние глубоко противно моему духу, и я на это настроение, конечно, не имею никакого права.

Письмо 612. М. А. Пазухиной

24 марта 1932 г. Коктебель

<...>

Этой зимой я чувствую себя физически очень плохо: задыхаюсь от каждого малого движения. Это напоминает мне последние годы жизни моей матери. Этими напоминаниями о смерти полна вся эта зима: каждый взрыв в горах во мне отзывается сердечным припадком. Ведь общий окружающий нас пейзаж — это внутренний пейзаж моей души. Поэтому каждое разрушение горы во мне отражает<ся> новой болью¹. И вся эта зима для меня постепенное и безжалостное умирание моего лирического мира. Постепенное и неуклонное отнятие моих различных душевных способностей: слова, зрения, слуха. <...>

Разве это не приближение смерти?

